

той воды формализмом. Самопожертвование Толстого надо считать поистине трогательным”.

Из всех “формалистов” с большим достоинством и искренностью защищал свои позиции только один Пастернак (знакомый парижской публике по своим выступлениям на Международном Антифашистском конгрессе прошлым летом⁴). С обычной для него образностью он бросил критикам “формализма” упрек, что они — “чиновники с оскорбительно равнодушными руками”, не помогающие сущности творческого процесса. Свое истолкование этого процесса он дал в еще более сжатой и образной формуле: “Нельзя сказать матери: роди девочку, а не мальчика”⁵. Однако законности требований, предъявляемых широкими читательскими кругами к литературе, он не отрицал.

Отрицать это, конечно, и в голову никому не придет. Жажда чтения у новых читателей огромна, и чтобы удовлетворить ее, должны быть найдены источники самой здоровой и прозрачной воды. Но почему кроме воды любители не могут пить также шампанское? Казалось бы, именно новая Россия, сверх необходимого, может позволить себе и роскошь.

Тем более что экспериментальная “левая” литература, “литература для 5000”, как назвал ее Ж.-Р.Блок (на московском съезде писателей в 1934 г.)⁶, только кажется роскошью. Если писатели — “инженеры человеческих душ”, то ведь лаборатория, эксперимент — необходимое условие работы инженера. И пусть из 1000 опытов удачным окажется только один: 999 неудачных не менее нужны, чем этот последний.

М.ГОРЬКИЙ

Они жили вместе — Горький и Пешков. Судьба кровно, неразрывно связала их. Они были очень похожи друг на друга и все-таки не совсем одинаковы. Иногда случалось, что они спорили и ссорились друг с другом, потом мирились и шли в жизни рядом. Их пути разошлись только недавно: в июне 1936 года Алексей Пешков умер, Максим Горький остался жить. Человек с самым обычным лицом русского мастерового и со скромным именем “Пешков” (от *piechka* — *le pion*) был тот самый, кто выбрал для себя псевдонимом “Горький” (*amer*).

Я знал обоих. Но я не вижу надобности говорить о писателе Горьком, о котором лучше всего говорят его книги. Мне хочется вспомнить здесь о человеке с большим сердцем и с большой биографией.

Есть много замечательных писателей без биографии, которые проходят через жизнь только в качестве гениальнейших

наблюдателей. Таков был, например, современник Горького и один из тончайших мастеров русского слова — Антон Чехов. Горький никогда не мог оставаться только зрителем, он всегда вмешивался в самую гущу событий, он хотел действовать. Он был заряжен такой энергией, которой было тесно на страницах книг: она выливалась в жизнь. Сама его жизнь — это книга, это увлекательный роман.

Необычайно живописны и, я бы сказал, символичны декорации, в которых разворачивается начало этого романа.

На высоком берегу реки — зубчатые стены древнего Кремля, золотые кресты и купола многочисленных церквей. Ниже, у воды — бесконечные склады, амбары, пристани, магазины: здесь каждое лето шумела знаменитая русская ярмарка, где происходили гомерические кутежи и делались миллионы, где с длиннополыми сюртуками русских купцов смешивались азиатские халаты. И наконец, на другом берегу — кусок Европы — лес фабричных труб, огненные жерла домен, железные корпуса кораблей.

Этот город, где жили рядом Россия 16 и 20 века, — Нижний Новгород, родина Горького. Река, на берегу которой он вырос, — это Волга, родившая легендарных русских бунтарей Разина и Пугачева, Волга, о которой сложено много песен русскими бурлаками. Горький прежде всего связан с Волгой: его дед был здесь бурлаком.

Это был тип русского американца, *self made man**: начавши жизнь бурлаком, он закончил ее владельцем трех кирпичных фабрик и нескольких домов. В доме этого скупого и сурового старика проходит детство Горького. Оно было очень коротким: в 8 лет мальчик был уже отдан в подмастерья к сапожнику, он был брошен в мутную реку жизни, из которой ему предоставлялось выплывать, как ему угодно. Такова была система воспитания, выбранная его дедом.

Дальше идет головокружительная смена мест действия, приключений, профессий, роднящая Горького с Джеком Лондоном и, если хотите, даже с Франсуа Вийоном, перенесенным в 20-й век и в русскую обстановку. Горький — помощник повара на корабле, Горький — продавец икон (какая ирония!), Горький — тряпичник, Горький — булочник, Горький — грузчик, Горький — рыбак. Волга, Каспийское море, Астрахань, Жигулевские горы, Моздокская степь, Казань. И позже: Дон, Украина,

* Человек, сделавший себя сам, выбившийся из низов (англ.).

Бессарабия, Дунай, Черное море, Крым, Кубань, горы Кавказа. Все это — пешком, в компании бездомных, живописных бродяг, с ночевками в степи у костров, в заброшенных домах, под опрокинутыми лодками. Сколько происшествий, встреч, дружб, драк, ночных исповедей! Какой материал для будущего писателя и какая школа для будущего революционера!

Посвящение в орден революционеров он получил от русских студентов, для которых бунт в ту пору был такой же священной традицией и неперменной принадлежностью, как их голубая студенческая фуражка. Это “посвящение” произошло в Казани. Там же Горький встретился с одним профессиональным революционером. Затем следует глава классического “хождения в народ”: Горький уезжает в деревню и работает там в качестве продавца в бакалейной лавке. Но, разумеется, и “продавец”, и “хозяин” — это были только конспиративные маски для того, чтобы вести пропаганду среди крестьян. Объект для пропаганды, очевидно, был выбран неудачно: в одну темную ночь крестьяне подожгли избу наших конспираторов, которые еле успели выскочить из огня. И может быть, эта ночь положила начало антипатии Горького к русской деревне, к мужику и определила путь Горького к городу, к городскому пролетарию.

Через несколько лет этот романтический бродяга выпустил книгу рассказов. Пред изумленным читателем предстал не только до тех пор неведомый мир “босяков”, но и целая система анархической философии этих пасынков общества. “Цеховой малярного цеха Алексей Пешков”, как было записано у него в паспорте, превратился в Максима Горького. Он сразу стал одним из самых популярных писателей в России, особенно в левых кругах молодежи и интеллигенции.

Теперь, казалось бы, можно было забыть о рискованных авантюрах и спокойно пожинать лавры. Но беспокойная бурлацкая кровь была слишком горяча для этого: в год выхода книги писателя Горького революционер Пешков был арестован жандармами и отправлен “на место преступления”, в Тифлис, где был заключен в Метехском Замке. Заключение было непродолжительным, Горький был освобожден... для того, чтобы вскоре оказаться в Нижегородской тюрьме и оттуда быть высланным в глухую деревню.

При тогдашнем оппозиционном настроении русской интеллигенции эти злоключения Пешкова только помогли необычайно быстрому росту славы Горького. В 30 с небольшим лет он был уже избран членом Императорской Академии Наук. Революционер, бывший босяк, — член Императорской Академии? Это был неслыханный скандал. Выборы были аннулированы по

приказу императора Николая II, положившего на докладе Академии свою резолюцию: "Более чем оригинально!"

Его Величеству нельзя отказать в известной предусмотрительности: через несколько лет, во время первой русской революции 905-го года, Горький оказался запертым в каземат знаменитой Петропавловской крепости. Запереть в каземат академика — это было бы, конечно, несколько неудобно.

Следующие главы жизненного романа Горького происходят уже за границей. Он стал политическим эмигрантом, он был отрезан от России, от своей Волги, которую так любил. Он получил возможность вернуться на родину только незадолго до революции 1917 года.

Во время войны почти два года мне пришлось провести в Англии, куда я был командирован в качестве инженера для постройки заказанных русским правительством ледоколов. В Петербург я вернулся только осенью 1917 года и тогда в первый раз встретился с Горьким. Так случилось, что с революцией и с Горьким я встретился одновременно. Поэтому в моей памяти образ Горького встает неизменно связанным с новой, послереволюционной Россией.

Маленькая белая комната — кабинет редактора журнала "Летопись". Осенний петербургский вечер. Где-то на улице постреливают. Аккомпанемент этот для редактора — видно, дело привычное и несколько не мешает оживленному разговору.

Этот редактор — Горький, но тема разговора — отнюдь не литературная; вопрос о моем рассказе — это дело уже решенное, Горькому он нравится и уже сдан в набор. Но вот построенные мною ледоколы, и техника, и мои лекции по корабельной архитектуре... "Черт возьми! Ей-богу, завидую вам. А я так и помру — по математике неграмотным. Обидно, очень обидно!"

Самоучка, за всю свою жизнь только полгода пробывший в начальной школе, Горький не переставал учиться всю жизнь и знал очень много. И к тому, что он не знал, у него было трогательное, какое-то детски-почтительное отношение. Эту черту мне приходилось наблюдать в нем много раз.

За окном выстрелы слышались ближе. Я невольно вспомнил вслух о налетах немецких цеппелинов и аэропланов на Англию, о способах, которые там применялись для борьбы с налетами. Опять что-то новое для Горького, то, чего он не знал — и что, конечно, должен был знать. Но в дверь уже не один раз загля-

дывала секретарша с письмами и гранками. “Слушайте, если вы можете подождать меня немного, мы пойдем ко мне обедать, а?” — предложил мне Горький.

Он жил в верхнем этаже огромного петербургского дома. Совсем недалеко, вправо, из окон видны серые стены и золотой шпиль Петропавловской крепости...

Хозяев было двое: Горький и его вторая жена, М.Ф. Андреева, бывшая актриса Московского Художественного Театра. Но за столом сидело не менее десяти-двенадцати гостей. Иные, как я не без удивления узнал потом, жили “гостями” в доме Горького уже несколько лет — так, как это водилось в русских помещичьих домах.

Когда Горький имел дело с новым, чем-нибудь заинтересовавшим его человеком, он умел быть обворожительным, как женщина. Для этого ему нужно было немного: только начать рассказывать о каких-нибудь своих приключениях и встречах с людьми. Рассказчик он был превосходный, люди, о которых он говорил, оживали и садились с нами за стол, их можно было видеть и слышать. Некоторых из этих людей я встретил позже в книге Горького — и мне показалось, что Пешков в тот вечер рассказал о них еще лучше, чем Горький в своей книге.

Недели через три или месяц одиночные ружейные выстрелы, которые были аккомпанементом моей первой встречи с Горьким, превратились в трескотню пулеметов и глухие удары пушек: на улицах Петербурга шли бои, это была октябрьская революция. Огромный корабль России оторвало бурей от берега и понесло в неизвестность. Никто, вплоть до новых капитанов, не знал: разобьется ли корабль вдребезги или пристанет к какому-нибудь неведомому материку.

Однажды утром, сидя в заставленном книжными полками кабинете Горького, я рассказал ему о возникшей у меня в те дни идее фантастического романа. Место действия — стратоплан, совершающий междупланетное путешествие. Недалеко от цели путешествия — катастрофа, междупланетный корабль начинает стремительно падать. Но падать предстоит полтора года! Сначала мои герои, — разумеется, в панике, но как они будут вести себя потом? “А хотите я вам скажу как? — Горький хитро пошевелил усами. — Через неделю они начнут очень спокойно бриться, сочинять книги и вообще действовать так, как будто им жить, по крайней мере, еще лет 20. И, ей-богу, так и надо. Надо поверить, что мы не разобьемся, иначе — наше дело пропащее”.

И он поверил.

Писатель Горький был принесен в жертву: на несколько лет он превратился в какого-то неофициального министра культуры, организатора общественных работ для выбитой из колеи, голодающей интеллигенции. Эти работы походили на сооружение Вавилонской башни, они были рассчитаны на десятки лет: издательство “Всемирная Литература” — для издания в русском переводе классиков всех времен и всех народов; “Комитет Исторических Пьес”¹ — для театрализации ни больше ни меньше, как всех главнейших событий мировой истории; “Дом Искусств” — для объединения деятелей всех искусств; “Дом Ученых” — для объединения всех ученых...

В столице, где тогда уже не было хлеба, света, трамваев, в атмосфере разрушения и катастрофы — эти затеи показались в лучшем случае утопическими. Но Горький в них верил (“надо верить”) — и своей верой сумел заразить скептических петербуржцев: ученые академики, поэты, профессора, переводчики, драматурги — начали работать в созданных Горьким учреждениях, увлекаясь все больше.

Я оказался в руководящих центрах трех или четырех из этих учреждений, где Горький всюду был неизменным президентом. Мне тогда приходилось встречаться с ним очень часто, и помню — я не раз с изумлением задавал себе вопрос: сколько часов в сутках у этого человека? Как у него, вечно покашливающего в прокуренные рыжие усы, наполовину съеденного туберкулезом, хватает сил на все? Однажды я спросил его об этом. Он с таинственным видом подвел меня к буфету, вынул темный флакончик и объяснил, что это — настой из чудодейственного китайского корня жень-шень, привезенный ему одним поклонником из Маньчжурии. Но не правильнее ли, что этим женьшенем была его вера?

И другое, что у меня осталось в памяти: это спокойствие, уверенность, с какими он председательствовал на собраниях профессоров и академиков. Постороннему никогда бы не пришло в голову, что этот человек, с такой легкостью цитирующий имена и хронологические даты (память у него была исключительная) — бывший босяк, самоучка. Единственное, что его отличало от остальных, — это, мягко говоря, своеобразное произношение иностранных имен и слов: ни одного иностранного языка он не знал.

Одною из тогдашних затей Горького было издать 100 томов лучших, избранных произведений русских авторов, начиная от Чехова². Об этом, сравнительно скромном по масштабу пред-

приятии, я упоминаю потому, что оно дало мне случай быть свидетелем очень любопытной ситуации: Горький в качестве критика... Горького.

Льстецов около Горького в ту пору было достаточно. Один из них, на заседании редакции "100 томов", начал восторженно перечислять произведения Горького, обильно поливая каждое соусом комплиментов. Горький смотрел вниз и сердито дергал усы. Когда оратор назвал его известное стихотворение в прозе "Песнь о Буревестнике" — одну из его ранних вещей, — Горький перебил говорившего: "Вы, вероятно, шутить изволите. Мне об этой вещи даже вспомнить неловко. Это — вещь очень слабая". Когда названо было несколько пьес Горького, и опять — с комплиментами, он снова вмешался: "Извините, господа, но этот автор, о котором вы говорите, — драматург плохой: кроме одной пьесы "На дне" — все остальное, по моему, никуда не годится"...

Гораздо позже мне пришлось быть свидетелем другого случая — в этом же роде, но уже совершенно юмористического. В гостях у Горького был довольно развязный молодой автор из группы "пролетарских". Горький спросил его, что он сейчас пишет. Гость ответил, что начал было писать трехтомный роман, но теперь бросил: "В нашу динамическую эпоху трехтомные романы пишут только идиоты". Горький — совершенно хладнокровно: «Да, знаете... Вот, говорят, Горький тоже пишет третий том своего "Клима Самгина"»...

Молодой автор готов был провалиться сквозь землю. Но за шуточным тоном у Горького слышалось болезненное сознание своей неудачи, какою был его последний огромный роман.

Едва ли не лучшей вещью из всего, написанного Горьким после революции, были его замечательные воспоминания о Льве Толстом. Для меня эта вещь особенно памятна потому, что она открыла мне какую-то дверь внутрь Горького, в те душевные апартаменты, в которые мы стыдимся пускать посторонних.

В Петербурге был устроен литературный вечер; "гвоздем" было выступление Горького, читавшего тогда еще не опубликованные воспоминания о Толстом³. Высокий, худой, сутулый, он стоял на эстраде; надетые для чтения очки сразу состарили его на десять лет. С моего места в первом ряду мне было видно каждое его движение. Когда, читая, он стал подходить к концу своих воспоминаний, началось что-то очень странное: казалось, он перестал видеть через свои очки. Он

стал запинаться, останавливаться. Потом сдернул очки. И тогда стало видно: у него лились слезы. Он всхлипнул вслух, пробормотал: "Простите..." — и вышел из зала в соседнюю комнату. Это был не писатель и не старый революционер Горький, а просто человек, не смогший спокойно говорить о смерти другого человека.

Я знаю: человека-Горького с благодарностью вспоминают многие в России, и особенно в Петербурге. Не один десяток людей обязан ему жизнью и свободой.

Всем было хорошо известно, что Горький — в близкой дружбе с Лениным, что он хорошо знаком с другими главарями революции. И когда революция перешла к террору, последней апелляционной инстанцией, последней надеждой был Горький — жены и матери арестованных шли к нему. Он писал письма, ругался по телефону, в наиболее серьезных случаях сам ездил в Москву, к Ленину. Не раз случалось, что его заступничество кончалось неудачей. Как-то мне пришлось просить Горького за одного моего знакомого, попавшего в ЧК. По возвращении из Москвы, сердито пыхтя папиросой, Горький рассказал, что за свое вмешательство получил от Ленина реприманд: "Пора бы, говорит, вам знать, что политика — вообще дело грязное, и лучше вам в эти истории не путаться".

Но Горький продолжал "путаться".

По моим впечатлениям, тогдашняя политика террора была одной из главных причин временной размолвки Горького с большевиками и его отъезда за границу⁴.

Случилось так, что незадолго до его отъезда я, возвращаясь из Москвы в Петербург, оказался в одном вагоне с Горьким. Была ночь, весь вагон уже спал. Вдвоем мы долго стояли в коридоре, смотрели на летевшие за черным окном искры и говорили. Шла речь о большом русском поэте Гумилеве, расстрелянном за несколько месяцев перед тем. Это был человек и политически, и литературно чужой Горькому, но тем не менее Горький сделал все, чтобы спасти его. По словам Горького, ему уже удалось добиться в Москве обещания сохранить жизнь Гумилева, но петербургские власти как-то узнали об этом и поспешили немедленно привести приговор в исполнение. Я никогда не видел Горького в таком раздражении, как в эту ночь.

Года через полтора, в глухой русской деревне, где я проводил лето, мне попался номер провинциальной коммунистической газеты с жирным заголовком: "Горький умер!" Заголовок оказался трюком остряка-журналиста: в статье шла речь о "по-

литической смерти” Горького, опубликовавшего тогда за границей какой-то протест по поводу происходившего в Москве суда над социалистами-революционерами (русская партия, примыкающая к 2-му Интернационалу)⁵.

Это был кульминационный пункт разлада Горького с большевиками. Но не только с ними, а и с самим собой, потому что, несомненно, кроме “Пешкова”, человека с почти по-женски мягким сердцем, в нем жил большевик.

Когда от жестокого разрушения революция перешла к постройке нового, Горький вернулся в Россию. То, что вызвало его отъезд, — видимо, было забыто. Когда я попытался заглянуть внутрь его и узнать, что теперь думает (вернее, чувствует) “Пешков”, я услышал ответ: “У них — очень большие цели. И это оправдывает для меня все”.

Недавно в статье о новых русских романах (в “Marianne”), упоминая о Горьком, я назвал его “Le Pape de la Littérature Soviétique”*. Курьезная опечатка типографии сделала из “pape” — “pore”***. По странной случайности эта опечатка почти повторила то, что Горький в шутку говорил о себе: он называл себя: “литературным протопопом”.

Я думаю, этой шуткой Горький правильнее всего определил свое положение в советской литературе. Было, конечно, немало и таких авторов, которые являлись к Горькому, чтобы “поцеловать папскую туфлю”. С такими благочестивыми паломниками Горький скучал и торопился их выпроводить. “Смотрит на меня, будто я — дурак в мундире с орденами”, — сердито сказал он мне об одном таком посетителе. Но большинство писателей приходило к нему не как к человеку с литературными орденами, не как к литературному авторитету, а просто — как к человеку: не к “Горькому”, а к “Пешкову”.

На моих глазах возникла и выросла дружба Горького с группой молодых петербургских писателей, носившей название “Серапионовых братьев”, с которой был очень близко связан и я. Группа эта родилась в петербургском “Доме Искусств”, где еще в первые годы революции Горькому удалось организовать род литературного университета (я там был одним из лекторов). Когда из слушателей этого университета вышло несколько талантливых писателей, Горький чувствовал себя, как счастливый

* Папа (т.е. Римский папа) советской литературы (фр.).

** Поп (фр.).

отец, он возился с ними, как насадка с цыплятами. Очень трогательные отношения с ними сохранились у Горького и позже, когда “цыплята” выросли и стали чуть что не классиками новой советской прозы.

Чрезвычайно любопытно, что вся эта группа писателей в литературном отношении была “левее” Горького, она искала новой формы — и искала ее никак не в реализме Горького. Тем показательнее их отношение к Горькому: это была любовь именно к человеку.

Для этой группы, как и для всех советских писателей не коммунистов, а только “попутчиков” (“compagnons de route”), — самым тяжелым периодом были годы 1927—1932. Советская литература попала под команду — иного выражения нельзя подобрать — организации “пролетарских писателей” (на языке советского кода — “РАПП”). Их главным талантом был партийный билет и чисто военная решительность. Эти энергичные молодые люди взяли на себя задачу немедленного “перевоспитания” всех прочих писателей. Ничего хорошего из этого, разумеется, не получилось. Одни из “воспитываемых” замолчали, в произведениях других стала слышна явная фальшь, резавшая даже невзыскательное ухо. Плодилось цензурные анекдоты; среди “попутчиков” росло недовольство.

При встречах мне не раз приходилось говорить об этом с Горьким. Он молча курил, грыз усы. Потом останавливал меня: “Подождите. Эту историю я должен для себя записать”.

Смысл этих “записей” стал мне ясен только гораздо позже, в 32-м году. В апреле этого года, неожиданно для всех, произошел подлинный литературный *coup d'état**: правительственным декретом деятельность “РАППа” была признана “препятствующей развитию советской литературы”, организация эта была объявлена распущенной. Это не было неожиданностью только для Горького: я совершенно уверен, что этот акт был подготовлен именно им, и он действовал, как очень искусный дипломат.

Жил он в это время уже не в Петербурге, а в Москве. В городе в его распоряжение был предоставлен многим знакомый дом миллионера Рябушинского. Горький бывал здесь только наездами и большую часть времени проводил на даче, километрах в 100 от Москвы. Там же поблизости жил на даче

* Переворот (фр.).

и Сталин, который все чаще стал заезжать к “соседу” Горькому. “Соседи”, один — с неизменной трубкой, другой — с папиросой, уединялись и, за бутылкой вина, говорили о чем-то часахми...

Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что исправление многих “перегибов” в политике советского правительства и постепенное смягчение режима диктатуры — было результатом этих дружеских бесед. Эта роль Горького будет оценена только когда-нибудь впоследствии.

Не буду здесь рассказывать, как и почему, но я увидел, что мне лучше на время уехать за границу. В те годы получить заграничный паспорт писателю с моей репутацией “еретика” было делом нелегким. Я обратился к посредничеству Горького. Он стал меня убеждать, чтобы я подождал до весны (1931 года). “Увидите — все изменится”. Весной ничего не изменилось. Тогда Горький, не очень охотно, согласился добыть для меня разрешение выехать за границу.

Однажды секретарь Горького позвонил мне, что Горький просит меня быть у него вечером, к обеду, на даче. Я очень отчетливо помню этот необычайно жаркий день, грозу, тропический ливень в Москве. Сквозь водяную стену автомобиль Горького мчал нас, нескольких человек, приглашенных в этот вечер к нему.

Обед был — “литературный”, за столом сидело человек 20. Горький сначала сидел усталый, молчал. Все пили вино, а перед ним стоял бокал с водой, вино ему нельзя было пить. Потом он взбунтовался, налил себе бокал вина, еще и еще, стал похожим на прежнего Горького.

Гроза кончилась, я вышел на огромную каменную террасу дачи. Тотчас же вышел туда Горький и сказал мне: “Ваше дело с паспортом устроено. Но вы можете, если хотите, вернуть паспорт и не ехать”. Я сказал, что поеду. Горький нахмурился и ушел в столовую, к гостям.

Было уже поздно. Часть гостей осталась ночевать на даче, часть уезжала в Москву, в числе их — я. Прощаясь, Горький сказал: “Когда же увидимся? Если не в Москве, так, может быть, в Италии? Если я там буду, вы ко мне туда приезжайте, непременно! Во всяком случае — до свидания, а?”

Это был последний раз, что я видел Горького.

Впрочем, еще одна, заочная, чисто литературная встреча моя с Горьким произошла совсем недавно. За месяц-полтора до его смерти одна кинематографическая фирма в Париже решила сделать по моему сценарию фильм из известной пьесы Горького "На дне"⁷. Горький был извещен об этом, от него был получен ответ, что он удовлетворен моим участием в работе, что он хотел бы ознакомиться с адаптацией его пьесы, что он ждет манускрипта.

Манускрипт для отсылки был уже приготовлен, но отправить его не пришлось: адресат выбыл с земли.

<РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. IV>

Вообразите себе юбилейный банкет, обязательный пафос речей, от которого начинают болеть зубы, скука. Вдруг какой-то чудак, к конфузу распорядителей, начинает рассказывать свои совершенно неподходящие воспоминания о юбиляре: о его ловких проделках на университетском экзамене, о какой-то хорошенькой соседке, в комнату которой он просверлил дырку... И как сразу все оживают, какой это отдых — вместо фальшивой фигуры "героя", "юбиляра" — увидеть живого человека!

В "юбилейном" климате советской литературы этого года такое освежающее впечатление производит роман "Наши знакомые" молодого автора Ю.Германа¹. Главным персонажем своего романа Герман рискнул взять не стандартного советского героя, а как раз вот такую случайную и как будто ничем не примечательную "соседку". Она не совершает ни стратосферических, ни индустриальных, ни иных подвигов: она просто живет. Но именно в этом-то и дело, что она ж и в е т, что она — живая, читателю кажется, что он видел ее, он ее узнает, это — его знакомая! И цель автора (очень удачно выбравшего заглавие) достигнута: читатель с интересом начинает следить за всеми перипетиями ее судьбы.

Роман начинается, как добрый "роман кораблекрушений", с катастрофы: умирает отец героини, маленький советский чиновник, и Антонина остается одна в голодном, замерзающем, ужасном и прекрасном Петербурге тех лет — первых лет после революции. Она начинает искать работу, но что может она делать — эта девушка, еще не успевшая даже кончить школы, почти девочка?